

Из неопубликованного номера журнала «Часы»

Валерий Артамонов

Экспозиция

1

Весь цитрамон скормил птицам;
прилетали, садились на колонтитул
мудрой книги; предъявляли пени
свои мне; уронили пенье.

Как весной щелкнувший в коленке мениск,
птицы порвали на мне ремни
кожаные защитные. Рухнул сверху
на ковер, как штукатурка, север.

Голова опереточного волхва,
как под ножом свежая халва,
расколота мной топором исподтишка,
валялась, как в прихожей два башмака.

В мозжечке прятался микроворон.
Уста протянуты были к микрофону.

От пианино исходил нагой пар.
Над ним балансировал городской парк.

Вязанкою узких козьих языков
висели пионерские галстуки высоко.

Как теннисные шары гуськом,
икота из меня несколько раз кадыком,
как привязанная к часам кукушка,
выскакивала на опушку.

Лишенный головы волхв
выл ночью на луну, как волк.

Звуковую оседлывая волну,
отхожу ко сну.

Где дождик побрякивает, как телефонная трубка
 в комнате, скомканной как бумажный рубль,
 позолоченный кузнечик вовнутрь
 лампочки
 запрыгивает, словно бабочка, —
 вспыхнут крылышки ее на лету.

Тает, как кодеин во рту,
 в дверь — если сломан звонок — стук
 пришельца. Из вены утром
 клопики выглядывают попросить уто-
 лить к вечеру на секунду к вечности
 привязанное, как на нитке нерв, нечто
 ртутное. Твои железы
 (ты выплюнул их) не только продолговаты,
 не только — красный болгарский в рассоле перец,
 а и змейки, в сурьме выкупанные, а ящерицы. Теперь уж
 откровенно:
 как стержень из шариковой пишущей авторучки,
 вену свою отверденевшую из руки вынимаю, накручивая,
 как проволоку, вокруг шеи. Друг
 дюбель вбил в стену. Крюк
 вогнал в потолок сам.
 Запулил в небеса,
 как наживку рыбак в нарзан,
 с изюминками испуга глаза.

Глеб Денисов

Прибалтийская поэма

I. Музыка начала прощания. Невский

В одноколейном тусклом фазтоне
 С самодавильным «сыном» Гелиоса
 Колючим и кудахтающим грузом
 — В глазу извечной осью, рвом, недугом —
 Мы были вживлены как электроды
 В мозг обезьяны — в город шапочной медузы —
 В смурном стыдливом смокинге — в друг друга.

Кончалась новизна, весна смещалась в хлопьях
Трехъярусных икарусных пролетов,
И воздух тяготел, русел и был обузой.
Мы чисто цокали, по струнке, — исподлюбья
На нас косились, — де, провинциалы,
‘Теть, чей здесь вензель, чьи — инициалы?
— Вперед, созданье, инь без яна, — плеток.

Мы распустились, как вязанье, — яшень, — вязы,
Но — позже, к осени, — и в грязь, — и в силу третьей фазы —
Земли=родной, нуля... в ростках асфальтных ям,
— Кто без изьяна, первый, — пусть бросает камень, —
Сорят рессоры солью... Музыка не сразу,
Но догоняет нас, и мы, спиной к Восстанью,
Под гаммы пустозвона катимся брос-ками.

— Вниз по двуполому Литейному, — будь другом!
— Нельзя? — так взглянем: даром, что ли, сели, —
Какой биполь пресуществлен, — как зелен,
Как ворожит, фильтрует, — центри-фуга
Уже раскручена, — и первый мех органа
Цепляет по сырому, в теле, сталью
И налагает клавишу на рану... — К Эрмиталю!

А шум — как бы с листа, а также сверх, помимо.
Сайгона щипаные кущи: не в октаву,
А в кварту — первый интервал из гимна —
Поют на круге, — внутрь не идут, — лезгинский
Лущеный чай один, да пристав, снявший схимну,
Пустынненько, два-три блаженных бають:
— Маёвку, значить, где-то запрещают?

А за домами — сад-не-сад — содом — у ног царицы.
Вдоль Катькиной решетки, разрешенной, в створках,
Уступчиками, кротко, счастливо, рискуя,
Творят художники: и зябнут, и кипят... и, хиппи, —
Один, — татищев, — ищет, тать, — нашел, — «не та? — дру-гую», —
И живоглот, кубист, в терзаннях пьет нектар
В последнем отлетающем дыханье... что — творится

Сменился такт — как будто свернутые в свитки
Всё хочется сказать, что — плисовые, — властно, —
Уже усугубились звуки в полых нитях,
Где холодел эфирный ветер, — безучастно
Перемещались мы под колокол воздушный,
И слитки солнечные таяли, как масло,
И конский храп — шрапнель, и — гасло небо — в лужах.

Ударил ссыльный, безъязыкий, нагнетая;
Смахнуло на огне суровым рукавом в полосу
И отпустило: — спекшийся Гостиный,
В углах коксующийся, и Пассаж-опоссум, —
Давали ток — под безголовой Думой, в тине,
Рудник серебряный, — провал пустой породы, —
Могиль-... — задавлен гул — ...-ные, — не слышно, роды.

Опять у пирожковой Вольфа-Беранже латают
Прореху меж колонн: патент-мольберты-пломбы,
Как бы не слушают, плюют, — и вроде и не тает
Головоломка, твердь... Полупустой — суть полуполный
Послушай, равенство, — затем Совет: умножь-ка на два,
Пустой — что полный, — снова совершенство,
И Зимний щурится согласно, — «ква» — Нева, канава.

Со стенок площади-часовни — чашки Петри
Со стрелкой-скипетром в бульжной площадке
-сни- мать, ско- блить, ска- тать, — мол, де-Монстр-ация
Подвыдохлась, как спущенный, деряблый
Членистоногий шар, застрявший в проводах,
И демон старнствовал: де-клар, де-флор, -мокр-, -рймо,
С копилкой трав, тюрьмой народных(?)-говоров.

Трухой, осколком рифа, трубной медью — лестной —
Впечатанною в грязь газетной почкой — полькой —
Мы затянулись — он исчез — тромбонным тромбом — краем,
Замкнулась музыка, шипя в крюках, и только
Шопен бросался вслед за Золушкой по тесным
Парадным виноватым лестничкам сбегая,
Но — запрокинув голову на плечи, ввысь и в бездну.

Я слушал конниц ряд, и в рельсах зуд, парезы
Составов нервных, осени в гудках, коросте — глине,
Где двигался младенец, — царский шлейф, в разрезах
Помножить род-на род и вой-на-вой, вдоль линий
Не епых ЛЭП мешал мне... я пошел с Фарцовой —
А впрямь, — к скрижалям ржавым жались — жаль, в загоне —
Твое на арках заарканенные кони.

Всё сверхобычно стало: я с землей, ты — в свете,
Мы ромб с крестом в груди и полюса — невольню,
Мне — хлебный нож, ржаной; с обвалом колокольным
В литейных ямах: свищ вершина слуха... ты же
Взяла не мир в узлах, но — миро мира, с мыта,
— Ван Рейнским славились, да предпоследний выжжен, —
Еще есть Riga Doma... — Рига — дома, — мы то?

Март 1989

Дмитрий Голынки

Архитектоника зрения и поэтика метаморфоз

К одному исполинскому оку,
без лица, без чела и без век,
без телесного марева сбоку
наконец-то сведён человек.

Владимир Набоков

Стихписание — складный вид баловства, жильблязианства, ярмарочной плутовской горечи, обманной скорби. Читатель, дуясь и спотыкаясь, пытается нащупать в Книге задачу черного письма — причину, почему было написано именно так. И она саднящей иголкой не откликается, не отыскивается: в кругозоре текста она оказывается постыдно мнимой — растягивается хоровод разнопёрстных причин, — постигая одну, обескураженно утыкаешься в другую — никуда не выводит клавиатурная лестница причинности. А причина есть: она в том, чтобы примитивный природный троп — чернорабочая поэтическая речь — явилась обмирщённым средоточием-явлением. Классически в искусстве считалось достойным трудиться над платоновской идеей — единичностью, распавшейся на множество, — каждая частица (чего угодно: поэтической или растительной материи, да и не побоюсь нескромно крепкого словца: бытия) бунтует против целостности, заявляет права на многоствольное, многошкурное, многожизненное овеществление, желает говорить и повелевать единолично. Но к концу двадцатого века художник задумался: не потянуться ли с ветхозаветным генезисом — с наивным богохульством вылепить для познания и совращения не пресловутое райское яблоко, а неразгрызаемый орешек явления.

Перелагая на густолиственную бумагу виды и качества «зацветшего пруда»: пупырчатый холмик лягухи, наливной сетчатый стебель, лепёшечную шкурку-чашечку переливающегося пузырчатыми красками цветка, просто поволоку петушиной ряски, схожей с промасленной ветошью, — всё это поэт — скульптор видимых светосборных форм — не различает. Ему важна семантически однородная однохребётная ткань, где все компоненты перелагаемой картины — будь то население зацветшего пруда или убранство тучнокупольного собора — слиты воедино, в одно видящее, говорящее, красящее, деятельное — иначе пупырчатое, лепёшечное, промасленное — явление. Подобная архитектура зрения доступна, если поэт расчётливо отнекивается от любого различения и ваяния частиц, детерминированных тягостными законами линейного земного пространства, и присягает, и поклоняется целому — в нём и пространство, и время, и что хочешь...

Талант глаза приводит к поэтике метаморфоз, симфоничный сонм явлений сталкивается и смешивается, звукоборствуя; как борцы, явления перетекают друг в друга, обхаживают и пыхтят, надувают и сводничают, — ведут совестливую жизнь органичного человеческого социума с изменами, братоубийствами, отвержениями, осквернениями, жульничеством.

Для членораздельной артикуляции пророческих губ — внятного выговаривания явления — важна особая геометрия зрения, его вовременная конусность, или «раструбность»... Центр явления (начало конуса видения — от-важно назовём его так) — в зрачке, занавешенном решётчатым веком; в нём — свёрнутое настоящее время, бесформенное и точечное. При поднимании натруженных век — освобождении от пут творящего глаза — разворачивается из зрачка вовне упомянутый конус пространства, обусловленного долготой времени (а пространство времени — очевидно, не что иное, как история), — он вытягивается, обрастает чешуёй формы; вылупливается колченогое, нарочито удлинённое прошлое, к нему подмазывается косноязычное будущее. Раструб глаза вытворяет рокошущую историю, губы бегло произносят её, зрение и речь двуедины и окованы наручниками смысла, — правда, уже на бумаге — янь поселяется там домочадцем.

И голодный глаз обучается познанию — сотворению рукописной яви, — и вкупе с его постижениями и навыками растёт — до бесконечности, может быть, — и конус виденья, заглатывая, словно жертвенных белогривых животных, новые и новые темно-пахотные слои истории с рукопашными разломами, заминками, прогалами.

Но это уже пугливые побегушки — выручи, выручи — к классически немецким вопросам познания или уход в дебри недоказуемой геометрии — они нам чужды. Для насильственного завладения поэтикой метаморфоз надо уметь умыкать, пасти, обуздывать, выстраивать явления, глаз открывать и вовне, и в себя, — конусообразно янь выговаривая при письме. И выполнил ли поэт свою сокровенную задачу — явить мир перетекающих друг в друга — песочком, песочком — явлений — судите, гадайте, расхлёбывайте сами.

Путь...

...завоевания и величие государственное, возвысив дух народа российского, имели счастливое действие и на самый язык его, который, будучи управляем дарованием и вкусом писателя умного, может равняться ныне в силе, красоте и приятности с лучшими языками древности и наших времён. Будущая судьба его зависит от судьбы государства...

Н.М. Карамзин

...И язык-то по себе плоховат, грубёнок, пахнет татарщиной.

К. Батюшков

Человеку, отчуждённому от обычаев племени отцов и от первичных родовых понятий, насущных для свободной лепки своей самости; отчуждённому не

в силу ленивости или недаровитости своей натуры, а из-за гибельного недостатка их в отечественном воздухе, — такому человеку, я полагаю, позволено не чувствовать себя отщепенцем в русской культуре, самой достаточно отщеплённой от культуры мировой... Всё нижеследующее — не манифест и не поучение кому-либо — не писал их и писать не буду, — это попытка поставить некоторые вопросы, ранее замалчиваемые, — скорей ненужные, — молодой русской нации. Мастерство риторики — задать вопрос, в котором изначально зернится ответ. Это — не труд историка, и я позволил себе некоторые самодовлеющие укрупнения и сжатия во времени и в пространстве, и в них правда. Это — и — не оговорка.

Сейчас нам необходима не переоценка ценностей, переоценка потерь: многие известные ранее ценности — разбазарены и забыты, создать новые — нет ни сил, ни дара. Мы вынуждены обращаться к достаточно железному XIX веку, раскалывая культурно-стилистические традиции — мастерство мыслить. Но и в этом отрезке времени, едва ли обосновано славящимся человеколюбием и ничтожным соблюдением гражданских прав, — вещей образцов плачевно мало. Очевидно обусловлено это тем, что у нас три силы, ткущие человеческую жизнь: тело, душа, дух, — слишком сопряжены, сращены; жизнь: фольклор-быт, культ-культура и религия-опыт — примитивней: тело, душа, дух — слишком сопряжены, сращены; пересечение их — абсолютно самодостаточно. Такое проникновение — суть Средневековья. Русское Средневековье тянется уже с тысячелетие, если — не более. Граждане Средневековья одержимы идеей, им и дела нет до мысли — начала формообразующего — полагаю и уверен: «идея» и «мысль» — понятия семантически разнородные — вороги. «Идея» — начало, замешанное на поклонении чуду и авторитету, «мысль» — искомое, суть творения, Мысль — материал строительный, добротный, тяжело полнокровный; идея — огонь и вода — материя равно бесформенная и смертоносная. Идея диктует стиль и форму: средневековая стилистика оттого функциональна и нетерпима, она бдительна — словно страж, опекает границы своего угодья — культурной вотчины. Остаётся повторять, как плакальщику: горе государству, где форма самовластвует безбрежно и повсеместно. Сила идеи — в демонической кичливости и власти над умами, являющимися верными отпрысками культуры-опустошительницы.

Конечно, не все эпохи страдали нарывом идеи — её самовластьем, были времена-ваятели, зодчие жизнеспособных кристаллов-кирпичей — ступеней культуры. Мне представляется мировая история в виде бесконечной лестницы с многократно повторяющимися ступенями: от нас до патриархов-праотцов один велеречивый водопад грамматических форм, имён и явлений, один ревущий звукоряд с многочисленными длиннотами, устойчивыми звуко сочетаниями и синкопами.

И тем отраднее, что, глядя в грядущее, мы видим те же творения и руины, что и в прошлом, — безразлично, какое направление придадим соборному комку энергетической поэтической материи, именуемому «настоящим», чтобы, развернув его, получить звуко-красочный ряд событий-метафор — повествовательно разговорную видимую ткань, ткань-лестницу. Возможно, как всякая метафора, такое понимание истории незаконно — страдает избытком неестественности, но у нас, заражённых этической аристотелевой логикой и эвклидовой эстетикой с вкраплениями семитской мистики, — у нас иного понятия о существовании в мире, помимо сравнительного, нет. Жизнь живого —

одно, синтезированное из многих, сравнение, вылепленное литературой, — иначе языком. Таким образом, народ с патриархальным, многоопытным языком, благодаря его смирению, старению, уходу в разумное рукодельное детство, в наглежащий кувалдный дадаизм, сам также стареет физиологически, впадает в младенчество, в колыбель, стремится сойти на нет, в шустрый лепет, в кроткий звук, в слепок ощущения... Жизнь живого — жизнь материализованного языка.

* * *

Что касается России, то в ней издревле язык (шире — письменность) служил подслеповатым поводырём социальной общинной жизни. Издревле — понятие, охватывающее довольно скромный промер линейного времени, в котором умещается Российская империя, — века два-три. Века два-три назад начала складываться иная, чем ранее, нация с иной культурой, — культурой-парадоксом, — дитём варварских усилий вживить в болотную русскую почву кусты классического европейского прошлого. Произошла казнь, как всякая взаправдашняя казнь, невесомая, невоспетая и с зловещей кислинкой мнимости: казнимы были растения-обычаи, посеянные и выращенные поколениями наших смутных допетровских пращуров. Глядя из своего времени, можно разве лишь ощупью увидеть вполне буколическую идиллию тех лет — жатву-казнь: жнецами-хирургами стали блистательные умы-анатомы, палачи-литераторы, живописцы-живодёры. Они кромсали сиротствующее живучее тело старой России по инородному подобию; явления Буонарроти и да Винчи — русского Ренессанса — не получилось... Правда, не ясно, было ли это тело ранее живуче... Прошлое было заново выдуманно: жизнедеятельные первенцы лепили его без оглядки и расторопно, если и озираясь временами, то лишь на купеческий Запад (озираться на него придется ещё долго), — они вылепили нечто угодливо-уродливо святое в кокошнике и кирзовых сапогах, с плёткой и поднятым двуперстием, с юродивыми, кликушами и дурачками, — они вмиг пришили по сердцу плеяде полуучек.

Новопридуманная русская тысячелетняя история — дубок, словарный фарс, наложенный грим, — гримаска. Эта гримаска наложена настолько прочно, что и не различишь, что под ней, — всё может быть... Таким образом, наше тысячелетнее время — века два с половиной, вряд ли более, нынешнее тысячелетнее прошлое лишь версия, теорема, сработанная — удачно ли, нет, не нам судить — в это краткое линейное время.

Сработана она была, очевидно, русской литературой, гордящейся своей функцией — сотворить империю-миф, империю-комедию, царство литературное. Литература — учительская указка, и кнут, и пряник... Самый увесистый филологический камень в фасад литературной российской империи заложил Пушкин — и свободо-инако-светло-мысле дворянства, и тайнополицейское криводушие, и уход к отцам-пустынникам — путь, неоднократно пройденный человеком, познавшим формотворческое непостоянство российской государственности. Подчиняясь ей, человек должен себя опознать кем-нибудь: борцом, рабом, зрителем, правителем, — всё равно, таковы правила игры... Принимая их, он становится волом литературы, диктующей формы государственности...

* * *

Гоголь, изучая небо, базилики и виноград Италии, усмотрел в них лишь украинско-половецкую ночь, — степь, помещиков в кибитках-коробочках и среднерусское обман-рабство, рабство, замешанное на неутолимой тяге к избалованному произволу, анархии, разбою. Гоголь явил в Россию помещика и чиновника: до него Государства-Департамента (с большой буквы) — не было; свою со-подчиненность диктату этого Департамента усвоил каждый — так младенец, усвоив двумерные плоскости колыбели, бережно — свыше — поднимаем на ноги, и, сообразуя вертикальную посадку своего мыслящего позвоночника со стрелчатой вертикальностью обступающей его утвари, впервые постигает трёхмерность мира. Так люди, заворожённые стилистикой Гоголя (а стилистика мастера создаёт-содержит свёрнутую строительную энергию), — после Гоголя осознают себя в государстве-истории несколько иного юридически-химического замеса, чем это было — до него. То же и с Достоевским. Так называемая русская интеллигенция с её баловством за трактирной стойкой и усидчивым покаянием где-нибудь, где не следует и не во время, — выведена Достоевским в косноязычной колбе его романов и фурией разметалась по всей России: домовые — домашние бесы закружились, разыгрались, разбросались бомбами. Революционная сонатина рубежа веков — эпилептическое видение мастера прозорливца, разыгранное в материи его персонифицированными отпрысками: ставрогиными, верховенскими, карамазовыми. Литературой были вылеплены три сословия; она явила отечественную иерархию, каноническую оценочность взамен свободного эллинского движения общественной материи — движения ради движения. Наша история — лишь броуновское движение толпы в парадном подъезде словесности.

* * *

Мудрые русские писатели — Тургенев, Гончаров, Короленко и т.д., — трудясь над рукотворным материалом социума, старательно дробили этот материал выпуклыми выдумками о неминуемых размолвках: между человеком и обществом, обществом и государством, государством и человеком, люди охотно — по горло — нагружались навязанными им противоречиями — словесным скарбом — и скорбели от них и по ним. Не скажу — плохо это или нет — это есть, в Европе рабовладение над гражданами не чисто имперское, а литературное, господствовало гораздо умеренней — господствовало дельно и домовито, хотя в начале века иного щекотливого интима-любви, кроме как Кнут Гамсун или Обри Бердслей, почти никто не ведал. В России бердслеевщина, обручённая со смердяковщиной, так же как риторическая смерть обручена с крестительницей-косой, довела жизнь до рассудочного абсурда, когда слово стало числом, означающим внутреннюю меру дионисийства, расхристанности.

* * *

Тем отрадней приметить поэтов, выпадающих из подневольной цепочки миродержцев-устроителей русской истории, — тех, кто пригубил кленовый

воздух туманного Альбиона или певчую пыль со склонов Пиэрии, — и кому не хватило духа вернуться в родимые болота. Удел их во многом благодатней и честней участи тех, кто вдохнул ямбическое вино с холмов Шампани или Тосканы и все же осел на плахи-просторы русского пространства-времени: так вернулись Гоголь, Блок, Мандельштам... Литературным невозвращенцем был Вагинов, особенно — Батюшков, — его скворешник-просодия — своеобразная флуктуация в гармоническом и звуковом рельефе русской поэзии. Батюшков не был песнопевцем-соловьём по званию или обязанности — перед обществом ли, перед Богом или перед самим собой — безразлично: он был им по праву естества — мудрец-грек, безусловно принимающий предопределенность — владычество прядильщиц — и чуть посмеивающийся над христианской свободой воли: какая там свобода, когда все права, перепавшие от жизни, — лишь неравномерно-уязвимая хромотца ямбического триметра да усыхающий глас плакальщицы-Гельционы. В то время как другие поэты толкли и ворочали под щелкающим языком поэтический сырьевой материал — словесный замес империи, чтобы утвердить свою свободу её со-творения, Батюшков в статьях-стенаниях уговаривал подчиниться языку, стать его колено-преклонённым орудием, его подмастерьем — ими были Петрарка, Ариост, Тассо...

...Между тем выковывался язык-орудие, общество становилось его функциональным придатком, помаленьку утвердилось самовластье творца над творением. Неумолимым оружейником был Пушкин — Аристотель русской поэзии: как суховатый грек сковал для европейцев оковы — форму мысли о философии, так и русско-арапский гений-аристократ (зубоскалящий — «я мещанин») облачил русскую поэзию в нарядную, просторную, добротную форму, — она была настолько хороша и легка, изящна, благостна, что никто и не заметил, как она превратилась в подобье застенка, оков.

Последующие ревнители пушкинской формы только усугубляли, огрубляли линейную иерархию: творец — творенье — общество, иначе: пророк — государство — народ; все трое — притворщики — себялюбиво не терпят — ненавидят друг друга: пророк побиваем камнями, государство побиваемо бульжниками, народ безмолвствует и куёт сам себя.

В начале XX века попытки восстать, — освободиться от кропотливо навязанной формы, — впасть в миротворческий кубизм — геометрию смысла — успеха почти не имели. Оставалось — отстраниться: пусть забросают камнями, пусть заберут, упекут — хоть куда — равно всё: оправдано и даровито лишь безоглядное — как в омут — экстатическое преклонение перед античной ясновидящей всеядностью — повиновение одному Богу — Языку.

* * *

Далеко зашел в своем католически-ревностном послушании Языку Чаадаев: он не плотничал полногласно, сколачивая Россию из кувалдных досок — тропов-метафор; нет, всплакнув в первом письме о ее безрадостной участи, о её генетической дурости, он более не упоминает её вообще — он вылепил лакуну, внутри неё и звенела свирелью — светляком его мысль о России, его России.

* * *

Цель творчества — создание лакуны, природа которой тварна. Из фонетически и грамматически неупорядоченного сырья — самоорганизующейся при говорении речи — строится широкооградная сфера. Внутри неё и находится примитивно называемый «свой мир художника» — иначе его творящий голос. Пространство этой умопостигаемой сферы не имеет конкретной размерности, его измерение зависит от названия: давая имя предмету — узнаёшь его единоличное измерение; ландшафт сказанной сферы населён утварью того измерения, которое органично творящему глазу.

Поэтическая материя, образующая сферу, текуча и двойственна: она то распадается на частицы, то обратно движется, образуя смысловую ткань, — одно понятие сталкивается-смыкается с другими, как язык с небом. Сфера эта бесконечно мала или одновременно бесконечно велика — безразмерна: в неё, как в клетку, может быть посажена и песчинка, и Русское государство — все наделено равными правами для переменчивого бытия. Там господствует антидарвинизм: при эволюции поэтической материи выживают наиболее слабые — сырые её частицы, чтобы обратить речь и синкретической невнятице, к неуязвимой зауми, к словарной глине. Как всё живое, поэтическая материя смертна и смертоносна (ведь смерть — также лишь движение) — она не знает только покоя-совершенства, т.е. Цели.

Говоря о Цели: ведь мимика губ выговаривающих, допустим, скорбь, — на вид не оправдана — для высказывания информации об этом понятии достаточно одного скупого знака-символа: он самодостаточен, но внутренне лжив. В процессе говорения разворачивается шатёр патриарха с неприятным скарбом, с гуртом живности: мурлыкающей, блеющей, хныкающей, и с обязательным одомашненным божком-идолом, — именно тем информативным знаком. Сладость творчества — пьяная радость черноработника, озабоченного стряпаньем, обшивкой и обивкой шатра вождю — народу — для любовных и гражданских забав. Творец — Анакреонт говорения.

* * *

Но анакреонтические шалости далеко не безвинны: оратор, сладкопеснопевец, говорун — может заговориться — возникнет заговор; заговорщики, как известно, побратимы оружейникам — и в мановение ока страна затоварена крылатым топотом крови и обморочным бормотанием разыгравшейся толпы. Заговор авторитарен: как всякое творение, он прежде всего обуздывает своего творца-говоруна, ревниво зажимая ему рот. Так же вели себя и революции — обе — 17-го года: они были лишь полузаключительным актом трагедии-сатиры; полузаклучительным — потому, что должного финала — не получилось, ведь автор погиб во временном литературном театре... Гибель драматурга во время действия в ковчеге театра оборачивается тем, что театр теперь сам выводит свой зубастый мотив, будучи в беспрестанной оппозиции к тирану — сценаристу грядущему, норовисто не подчиняясь его стилистической дудке. Литературная смерть трагика — потеря своего словопослушного хора; его потеряли Зоценко, Бабель, Ремизов, Пастернак и многие, многие... Хор сгинул, мелос рассыпался на словопреступный ропот толпы и близорукое зуденье бес-

помощного голоса титана. XX век — склочное зрелище биологического отмирания олитературенной российской империи, отпадения местной жизни от литературной указки. Стинула — с лица России — литературная империя. Век её был краток, но поучителен.

Очевидно, всякий организм терпит бесконечное становление в двух фазах — формах времени, — фазе рождения и фазе умиранья: стык этих двух фаз — синтез материи — условие для справления упорядоченного празднества — творческого акта. Самодостаточно творить можно только в эпоху синтеза; ей нельзя дать имя, она — как палитра-красительница ненаписанных картин — не приемлет какой бы то ни было конкретизации, будь то название общественного уклада или гносеологического учения — все названные частицы слиты воедино в одно симфоническое ядро-бурю.

Общее отречение от стыка фаз грозит впадением в ребяческую статуитарную структуру, — либо в либеральное рабство середины XIX века, либо — в тираническую демократию середины XX-го. Исторический опыт подсказывает, что самый ущербный и нелепый государственный строй, непригодный для свободного роста мысли, — демократический. Чудный пример тоталитарной демократии мы зрим в ленинско-сталинской России, — народовластие довлеет свободе эстетического выбора. Суть сталинского плебса такова: каждый волен предать другого на поруганье — в органы — в застенки, и быть обоюдно преданным — туда же: несколько вывернутая наизнанку державинская христологическая двойня: «Я раб, я царь...» И творец в это время не творит; он делает математически точные — невесомые — ходы (отсюда повальное увлечение гуманитариев XX века математизацией культуры, для уяснения пропорций своей особи в пантеистическом пространстве: «царь-раб», и, увиливая от тягот демократии, он предпочитает жертвенно рядиться в скудную личину особи-раба, нежели почтить неслиянность и нераздельность этих двух понятий: царь-раб, раб-царь, — не все ли равно — червь-кропатель.

Никто — почти — из русских творцов XX века услышан — прочтён не был: они трудились над материалом заведомо органически мёртвым — отщепенцем-обществом, увязшим в голубомундирных покаях баловницы демократии. Уход в демократию означает гибель народа-целостности, вернее его заносчивое обмирщение в столичности.

* * *

К концу века мы впали в столичность, сходную с разбалованной столичностью Александрии; различие: то было в невинном отрочестве человечества, мы сейчас — в пору униженной старости. Что же такое столичность? Это — размыв сословий, это — беспрестанные метаморфозы законопокорного бестиария-табуна, ранее именуемого социумом. Столичность — стойкая безграмотность, возведённая в добродетель; физиологическая непригодность к труду, будь то штудирование многих языков или обработка пашни. Это — вытеснение ристалищного общения — хитроумного диспута-диалога: сатирического, любовного, тринитарного, — со-общением, препирательством, сварой — грехопадением человека в нетерпимость, в глухоту, Сто-личность — забывание старого, атрофирование нового; всеобщая подобострастная тяга к площадной учёности, к акробатической эрудиции.

Это — биологическое и культурное вымирание популяции-народа, творцы которого — поэты — опередили свой вторящий хор на много-много временных мер и затерялись в немом будущем, то есть разучились творить — воровать время.

* * *

Акт творчества — апофеоз воровства. Воруют все: воруют поэтический материал — словесный сор, — кто чуть-чуть, кто аршином, чтобы скроить из него желанную мысль, а мысль — это форма (обратное неверно). Важен размах, ухарство, удадь, неприязательность в средствах, — и сработан том-архитектон, каждый элемент которого сворован — по нитке — у достойных предшественников, — статистический закон литературной эволюции. Выгода этого закона по сравнению с дарвинским, поступательным, — в том, что нахально и злоумышленно обокраденный предтеча остаётся при своём кровном добре-движимости, и имя потерпевшего — обокраденного — столь же славно и ёмко, как и имя вора. Постоянство воровства («исполнились мои желания. Творец!» — «исполнились твои желанья, пряха») — суть литературной преемственности.

* * *

Заканчивая эти краткие бездоказательные заметки, я хочу всплакнуть о вечно рушащемся и вечно возрастающем уповании на синтез явленного мира, синтез поэтической речи. В наше время столичности (сто-личности) в чести анализ-расщепление, синтеза боятся, как чумы, ведь всякая столичность — болезнь, боязнь замкнутости монады, ухода в себя, в речь... С говорливой улыбкой можно одноголосо позубоскалить о недобрых радостях ухода — устранения куда-нибудь: в себя, в восточные пределы империи, в плоско-лесистые каменные степи, к блюдам озёр-котлованов. Очевидно, уже много тысячелетий творчество — лишь самовольная или принудительная ссылка-уход — в Сибирь ли, в Румынию, в Архангельск, в жёлтый, большой или публичный дом — безразлично. Человек смеет без усталости говорить только в минуту безотрадного троганья в путь, укладывая пожитки в куцую суму и набрасывая перюгу-плащаницу на плечи. О, как придавливает к мать-сыре этот груз...

Публикация Руслана Миронова